

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ
МИР

3

2009

МИР НАУКИ

ВАЛЕРИЙ СОЙФЕР



ОЧЕНЬ ЛИЧНАЯ КНИГА

*Воспоминания о великих российских ученых Сергее Четверикове
и Николае Тимофееве-Ресовском*

Вклад С. С. Четверикова в науку

Когда рассуждают о том, какой вред нанес России коммунистический режим, обычно говорят о загубленных бесправными арестами жизнях, о десятках миллионов посаженных в сталинское время (из них около 13 миллионов по политическим статьям), но редко касаются вреда, нанесенного престижу России в мировой науке. В 1935 году Трофим Денисович Лысенко вызвал горячее одобрение Сталина заявлением на митинге в Кремле, что среди ученых есть вредители. Это предопределило бурный карьерный рост Лысенко: он стал академиком трех академий, заместителем председателя Совета Союза, директором двух институтов, президентом Академии сельхознаук и членом президиума АН СССР. Начиная с 1937 года он твердил, что генетика — враждебная социализму наука. Этот призыв был созвучен собственным взглядам Сталина, и в 1948 году генетику в СССР запретили решением Политбюро партии коммунистов. Административному запрету подверглись и другие научные дисциплины — педология, математическая статистика, кибернетика, отрасли медицины, связанные с психологией и психоанализом, разделы лингвистики и истории.

Эти запреты ломали судьбы ученых, развивавших новые направления и выводивших Россию в число передовых. Изучение гонений на генетику в СССР дает немало примеров этого рода. Например, великий русский биолог Николай Константинович Кольцов (он действительно по любым мировым стандартам — великий ученый) в 1903 году — за три четверти века до того, как в мировой (западной!) биологии осознали, что во всех клетках существует цитоскелет, предложил и сам термин (теперь его приписывают нобелевскому лауреату Кристиану Рене де Дюву) и экспериментально обосновал его существование. Он же за четверть века до Дж. Уотсона и Ф. Крика развил представление о двунитчатости наследственных молекул. Уотсону и Крику дали за их

Валерий Николаевич Сойфер — биолог и физик. Родился в 1936 году в г. Горьком. Доктор физико-математических наук, заслуженный профессор Университета им. Джорджа Мейсона (США), иностранный член Национальной академии наук Украины, академик Российской академии естественных наук и ряда других академий, почетный профессор МГУ, Иерусалимского, Казанского и Ростовского университетов, почетный доктор Сибирского отделения РАН, награжден Международной медалью Грегора Менделя. В 1974 году создал в Москве Всесоюзный НИИ прикладной молекулярной биологии и генетики и в течение 12 лет (с 1993 по 2005) руководил международной Соросовской программой образования в области точных наук. Автор более двадцати книг, в том числе «Арифметика наследственности», «Молекулярные механизмы мутагенеза», «Власть и наука. История разгрома коммунистами генетики в СССР», «Красная биология» и других, изданных в России, США, Германии, Англии, Эстонии, Вьетнаме, Чешской Республике. Член редколлегии журнала «Континент». С 1988 года живет в США. Данная публикация является частью новой книги автора — «Очень личная книга».

гипотезу двуспиральной ДНК Нобелевскую премию, а Кольцова (публично критиковавшего лысенковщину и в 1936 году газету «Правда» за обман читателей), скорее всего, отравили в 1940 году в Ленинграде, подсунув ему бутерброд с ядом, вызвавшим паралич сердечной мышцы.

Другой не менее показательный пример: в начале XX века Сергей Сергеевич Четвериков разработал модель «волн жизни», объяснявшую всплески эволюции видов в случае развития огромного числа особей видов в отдельные годы, затем предложил объяснение «основного фактора эволюции насекомых». Последнюю из указанных работ тут же перевели на английский язык. Наконец, в 1926 году Четвериков опубликовал свое объяснение роли мутаций в эволюции и этим заложил основы новой науки — популяционной генетики.

Можно себе представить, как бы старались и финансово, и морально поддерживать такого ученого в любой другой стране мира. А в СССР Четверикова арестовали в 1929 году по совершенно ложному обвинению и выслали из Москвы на 5 лет, не разрешив вернуться на свое прежнее место жительства и работы и после окончания ссылки. Наука СССР пострадала от этих драконовских, незаконных и глупых мер, Россия потеряла приоритет, потому что через несколько лет американец С. Райт и англичанин Р. Фишер повторили выкладки Четверикова, а Россия осталась позади. Сегодня достижения популяционной генетики легли в основу методов прикладной биологии и агрономии, на них построены представления об охране природы.

Еще один пример — судьба ученика Четверикова Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. Его в 1925 году сами советские власти командировали в Германию, в институт по изучению мозга. Тогда директор этого института О. Фогт согласился помочь организовать в СССР изучение мозга Ленина (была благая надежда, что у В. И. Ульянова особо устроенный мозг, что оказалось неверным, более того, это исследование показало, что ткани ленинского мозга были необратимо деформированы и даже редуцированы). Фогт, увидев, что лаборатория Четверикова «впереди Европы всей», упросил Сергея Сергеевича разрешить ему на несколько лет пригласить в Германию его лучших учеников — Н. В. Тимофеева-Ресовского и Сергея Романовича Царапкина. Работая там, Тимофеев-Ресовский приобрел широкую научную известность. В 1945 году «молодцы» из Смерша арестовали в Берлине и его, и Царапкина, доставили их в Москву, там осудили за измену Родине на 10 лет и чуть не уморили в лагерях.

С Кольцовым по возрасту я не мог быть знакомым, но вот Четверикова и Тимофеева-Ресовского хорошо знал лично и решил поделиться своими впечатлениями от встреч с ними. Думаю, что эти воспоминания помогут лучше осознать, какими удивительными (хотя и совершенно разными) людьми они были и что Россия потеряла, преследуя обоих выдающихся ученых.

До появления на свет умозаключений Четверикова о связи генетических изменений и эволюции биологи классических направлений в большинстве своем относились к генетике не просто сдержанно, а довольно отрицательно. Да и в целом генетика в первой трети XX века развивалась в отрыве от эволюционного учения, и Четвериков в 1926 году впервые поставил задачу, сформулированную им предельно четко: «Как связать эволюцию с генетикой, как ввести наши современные генетические представления и понятия в круг тех идей, которые охватывают эту основную биологическую проблему?»

Он нашел решение, анализируя накопление мутаций (он называл их геновариациями), и математически точно доказал их роль в эволюционных процессах. К моменту публикации его работы в мировой науке еще не было осознано, что мутации возникают постоянно в естественных природных условиях. Этот вывод станет признанным только через год, когда на V Генетическом конгрессе в Берлине в 1927 году Герман Мёллер выступит с работой по доказательству вызывания мутаций рентгеновскими лучами у дрозофилы; его заключение подхватят биологи, и впоследствии он получит Нобелевскую премию за эту работу, но парадокс истории заключается в том, что русские ученые Г. А. Надсон, Г. С. Филиппов и М. Н. Мейсель доказали индукцию мутаций рентгеновскими

лучами и химическими веществами в 1925 — 1929 годах, хотя их работы остались малоизвестными.

Четвериков же еще в 1926 году уже не просто теоретически предсказал, что мутации накапливаются постепенно в недрах вида («Вид, как губка, впитывает в себя гетерозиготные вариации», — писал он), но измерил количество возникающих в природе мутаций и доказал, что их достаточно для эволюционных подвижек в природе. Вместе с учениками он отправился в горные районы Кавказа, где они собрали в природных условиях нормальных по форме дрозофил, привезли их в Москву, там проанализировали и доказали впервые, что в действительности природные популяции содержат многие мутации. С этим важнейшим сообщением он выступил на том же V Генетическом конгрессе в Берлине.

Мое знакомство с С. С. Четвериковым

Отбыв пятилетнюю ссылку на Урале, Четвериков в 1934 году хотел вернуться к своей научной работе в Москве, но ему было запрещено поселяться в Москве, Ленинграде, Киеве, городах Закавказья и многих других городах СССР. Он нашел себе место работы — преподавателя математики (я не ошибся — именно математики, вот каким образованным был этот биолог!) в одном из промышленных техникумов в захолустном тогда городе Владимире. Затем в 1935 году ему разрешили принять приглашение коллег из недавно созданного Горьковского университета переехать в этот город на слиянии Волги и Оки (Горький уже тогда был сильно закрытым городом, иностранцам туда въезд был ограничен, а ссыльных ученых там селили запросто). Он стал заведовать кафедрой генетики и селекции, в 1944 году его наградили за выведение породы шелкопряда, вырабатывающего волокно, пригодное для изготовления чесучи, орденом «Знак Почета» (Сергей Сергеевич называл его «Орден веселые ребята»), а в 1948 году, после запрета генетики, его с работы уволили, он вскоре ослеп и тяжело заболел.

Я родился в Горьком, в 1954 году закончил там среднюю школу, уехал в Москву и учился в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Там меня заинтересовала запрещенная тогда генетика. Когда летом 1956 года я приехал домой на каникулы, доцент Горьковского университета Петр Андреевич Суворов, опекавший меня с 9-го класса, дал домашний адрес Четверикова, который жил в центре Горького, заброшенный учениками и коллегами. Так начались наши с Четвериковым постоянные, почти ежедневные встречи во время моих последующих приездов в Горький.

Сергей Сергеевич был уже практически слепым: он видел только силуэты входивших в комнату людей, позднее я узнал, что он мог в солнечную погоду отвести в сторону руку с часами, в которых были золотые стрелки, и, поворачивая циферблат так, чтобы солнечный луч попал на стрелки, добиться их блеска. Тогда с трудом, но все-таки успешно он узнавал время. С ним жил вернувшийся из почти четвертьвекового заключения в сталинских лагерях младший брат — статистик Николай Сергеевич.

Не помню, как потекла наша первая беседа. Я украдкой рассматривал небогатое жилище двух ученых. Сначала многое меня смущало, и я стеснялся, сам не знаю чего. И лишь спустя, наверное, полгода я полюбил это убежище двух братьев, не потерявших ни на йоту любви к жизни и умевших радоваться весне, песне птички, усевшейся на подоконнике, или «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери, переведенному братьями с французского. Никогда мне не забыть песенки, какую мы любили распевать с Сергеем Сергеевичем довольно часто: «Шел козел дорогою, дорогою, дорогою, / Нашел козел безрогую мутацию козы. / Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, / Тоску, печаль размыкаем, размыкаем, коза». И снова: «Э-э-х, шел козел дорогою, дорогою, дорогою, / Нашел козел безрогую мутацию козы», повторяя снова эти слова, убыстряя темп и все громче, пока, наконец, Сергей Сергеевич не заливался смехом.

Лишенные самого ценного для ученых — работы, того, что составляло для них смысл жизни, они тем не менее искали все способы хоть чем-то оказаться полезным людям. Маленькую соседскую девочку Сергей Сергеевич учил немецкому, а вместе с Николаем Сергеевичем — английскому, студент-биофизик Н. Н. Солин получал консультации Николая Сергеевича, вдвоем братья готовили рефераты работ для журналов Института научной информации АН СССР. Это были нити, связывавшие их с окружающим миром. Известный генетик и радиобиолог, Соломон Наумович Ардашников (который стал позже моим руководителем в аспирантуре в Институте атомной энергии имени Курчатова; это произошло вне всякой моей связи с Четвериковыми), присылал иностранные монографии, и братья переводили их на русский для издательства «Иностранная литература». За переводы платили, а Соломон Наумович отдавал все гонорары за выполненную работу. Эти деньги всегда были кстати.

Встречи с Сергеем Сергеевичем были очень важны для моего взросления. Постепенно я проникался все глубже убеждением, что нет в биологии пути в обход или вопреки генетике, что все лысенковские потуги отменить эту великую науку просто смехотворны.

Во время встреч с ним мы, конечно, чаще всего говорили о науке. Я старался рассказывать о новых познаниях относительно того, что собой представляют гены, как информация в ДНК переписывается в РНК, как потом РНК определяет синтез специфических белков, а те управляют развитием признаков. Этот последний этап особенно интересовал Сергея Сергеевича, потому что он десятилетиями обдумывал проблемы генетики индивидуального развития. Он искренне удивлялся тому, как далеко шагнули вперед биохимия и биофизика, и пытался объединить сведения из разных дисциплин в единый комплекс современного понимания закономерностей генетики.

И разумеется, я часто возвращался в разговорах с ним к проблеме, изложенной в его классической работе 1926 года, в которой впервые в науке был протянут мостик между появлением мутаций в геноме организмов и их ролью в эволюции видов. Я тогда находился под огромным впечатлением от его анализа, пропитанного математическими выкладками, идеями теории вероятностей и вместе с тем вполне зримым биологическим смыслом развития видов живых существ. Мне этот анализ напоминал работу Грегора Менделя, который также построил свои выводы на безупречном чисто математическом анализе последствий скрещивания организмов, различающихся одним, или двумя, или тремя четко очерченными наследственными признаками.

Мы касались в беседах самых разных вопросов, в том числе и далеко не безобидных политических проблем. Я был немало удивлен годами позже, когда узнал, что, например, работавшая с ним с 1935 года до начала 1940-х годов З. С. Никоро отмечала крайнюю замкнутость Четверикова и его постоянное отстраненное отношение к окружающим и даже недоверие ко всем им без исключения. Меня равным образом поразило недавнее заявление Т. Е. Калининой, которая навещала достаточно регулярно братьев Четвериковых дома в 1950-е годы, что она «ощущала определенную не видимую глазом границу между нами <...>. Ведь я была членом КПСС, и, видимо, это внушало Сергею Сергеевичу некоторые опасения». Она добавляла, что с годами эти опасения слегка рассеялись, но «я никогда не поднимала разговоров о генетике и лысенковщине <...> мы оба продолжали обходить некоторые темы»¹.

В наших разговорах мы, напротив, о лысенковщине говорили открыто и нисколько не таясь, я никогда никаким членом КПСС не был и не чурался политических разговоров, и Сергей Сергеевич был со мной совершенно откровенен и доверителен (так, однажды на мой вопрос, доверял ли он большевикам после революции, он без обиняков сказал мне, что взгляды меньшевиков ему были ближе, хотя, вообще-то говоря, он к коммунистам любого разлива доверия не испытывал).

¹ «Сергей Сергеевич Четвериков. Документы к биографии. Неизданные работы. Переписка и воспоминания». — Сб.: «Научное наследство», т. 28, М., «Наука», 2002, стр. 33.

Письма С. С. Четверикова

До самой смерти Сергея Сергеевича мы переписывались с ним регулярно, и он не боялся выражать свои взгляды в письмах ко мне. Из-за слепоты он не мог писать сам и диктовал брату, тот наловчился печатать их на пишущей машинке, используя сложенные пополам листы бумаги, иногда добавляя что-то от себя, и пересылал их ко мне в Москву. В конце писем Сергей Сергеевич неизменно подписывался. Для этого он вставал с постели, усаживался за стол, брал в руку вечное перо, а брат ставил руку на нужное место в письме, после чего он по памяти выводил «С. Четвериков», а иногда даже приписывал одно или несколько слов, стараясь, чтобы слова не налезали друг на друга и чтобы строчки получались относительно ровными. Несмотря на невероятные боли, которыми подчас «награждали» его болезни, он всегда с надеждой ждал лучших времен и лучших событий.

Сергей Сергеевич давал мне советы, иногда повторял одни и те же пожелания по несколько раз, буквально вдалбливая их мне. Он старался, как отец, воспитать меня, не жалея времени, наставлял и призывал к серьезной работе.

После смерти моей мамы в 1975 году в Горьком вся переписка нашей семьи, в том числе с Сергеем Сергеевичем, пропала. Осталось только 12 писем и открыток, написанных между мартом 1958-го и 13 мая 1959 года и направленных мне в МГУ, когда я перешел учиться из Тимирязевки на физический факультет университета. Я приведу их все ниже, понимая, что любые письма великого ученого представляют собой огромную ценность, к тому же они придадут моим воспоминаниям должную убедительность.

Сергей Сергеевич одобрил мой переход из Тимирязевки на физфак МГУ и придирчиво следил за моими делами. Он просил меня писать ему регулярно и сообщать о всех моих делах, по сути он вел себя как самый близкий и заботливый родной человек. Если от меня не приходили весточки вовремя, я получал от него письма и открытки, полные искреннего беспокойства.

ГОРЬКИЙ, 8 марта 1958 г.

Дорогой Валерий Николаевич,

Вы молчите, а я очень тревожусь. Ведь зимняя экзаменационная сессия закончилась, а с какими результатами? Ведь Ваша судьба очень близка моему сердцу. Надеюсь всё-таки, что всё у Вас благополучно. Еще и еще раз напоминаю Вам, дорогой Валерий, что время входит чрезвычайно важным элементом в усвоение математики. Запомните это очень крепко. То, что Вы затеяли, я считаю в высшей степени важным и касающимся не только Вас лично, но и меня и брата и вообще судеб генетики в нашей стране; надо, чтобы это дело не только дошло до конца, но было бы доведено до конца блестяще!!

О себе сообщить нечего, чувствую себя средне, время от времени бывают «беспричинные» вспышки температуры, которые затем так же «беспричинно» медленно затухают, а силы всё убывают и убывают.

Мы оба с братом шлем Вам наилучшие пожелания, и еще раз повторяю, что жду от Вас вестей с большим нетерпением!!

Искренне Ваш С. Четвериков.

И столь же крепко Вам преданный Н. С. Четвериков.

Два последних предложения были написаны от руки обоими братьями; орфография и пунктуация в этом и последующих письмах сохранены.

С. С. Четвериков поддерживает мое желание поехать летом на практику к Н. В. Тимофееву-Ресовскому

В декабре 1957 года академик И. Е. Тамм помог мне перейти из Тимирязевки на кафедру биофизики физического факультета МГУ (некоторое время тому

назад в «Континенте» был опубликован мой очерк «Академик и студент» о нобелевском лауреате Игоре Евгеньевиче Тамме). Кафедра была организована за год до моего перехода туда, и на ней с самого начала возникла особая атмосфера дружелюбия. Небольшой коллектив кафедры старался проводить семинары и встречи, которые бы затрагивали всех студентов — и более старших, и младших. Мне кажется, что эту практику ввел заведующий кафедрой Лев Александрович Блюменфельд, человек во многих отношениях совершенно замечательный (не только как ученый, но и как поэт). Он был имманентно (а не поверхностно, как это иногда бывает у людей с высоким интеллектом) благожелателен и заботлив. Он был готов выслушивать всех студентов, и они льнули к нему, часто обращались за советами по разным поводам и всегда получали заинтересованный и глубокий совет по существу, а не лишь бы отвязаться. Под стать ему был и очень активный и целеустремленный доцент Симон Эльевич Шноль. Ему поручались лекции по биохимии, но он играл на кафедре важную роль объединителя всех студентов в одну общую и дружную компанию биофизиков.

Общаясь с Четвериковым и Таммом, я слышал от них о многих вещах, крайне меня заинтересовавших, и, в частности, оба моих ментора нередко упоминали фамилию Тимофеева-Ресовского.

Как я уже упоминал, переезд Тимофеева в Германию произошел при нетривиальных условиях. Когда Оскар Фогт, директор двух институтов — Института исследования мозга имени кайзера Вильгельма и Нейрологического при Берлинском университете, приехав в начале 1925 года в Москву, согласился помочь организовать Институт мозга в СССР, он, не отлагая изучение мозга Ленина на долгое время, предложил начать нужные исследования у себя в Берлине. Фогт был так воодушевлен достижениями Четверикова, что решил просить его порекомендовать своих лучших учеников для переезда на время в Берлин, в фогтовский институт, с тем, чтобы наладить генетические исследования на том же уровне. Четвериков сказал мне, что он объявил своим ученикам о такой возможности, и Коля Тимофеев-Ресовский выразил желание отправиться в Германию со своей женой, а затем туда же отправился Сергей Р. Царапкин. Об этих переговорах и рекомендациях Сергея Сергеевича свидетельствует также его письмо к Фогту, посланное 3 июня 1926 года². Русские ученые уехали в Германию в 1925 — 1926 годах. Тимофеевы и Царапкины прожили в Германии до окончания Второй мировой войны³.

² См. сб. «Научное наследство», т. 28, стр. 220 — 222.

³ 29 декабря 1990 г. сноха С. Р. Царапкина прислала мне следующее письмо в ответ на мою просьбу рассказать подробнее о жизни русских ученых в Германии: «Сергей Романович Царапкин был генетиком с хорошими знаниями математики, особенно вариационной статистики, что немало помогло ему в научной работе. После окончания университета он начал работать в Институте экспериментальной биологии <...> под непосредственным руководством Н. К. Кольцова. В 1926 году он был откомандирован в Германию для работы в Институте мозга. Там он встретил <...> приехавшего раньше Н. В. Тимофеева-Ресовского (далее эта фамилия будет упоминаться как Т. Р. — В. С.). С самого начала, еще когда занимались в группе у С. С. Четверикова, взаимоотношения у них не сложились дружескими, а дальше и совсем испортились. В 1932 г. Т. Р. участвовал в Международном генетическом конгрессе в США. Сергей Романович и другие сотрудники лаборатории Т. Р. дали ему свои материалы для представления на конгрессе, Т. Р. представил их от своего имени, не упомянув других авторов. Разразился, после возвращения, скандал, даже сам Фогт высказал публично свое мнение по этому инциденту. Были и другие эпизоды, характеризующие несовпадение мнений Сергея Романовича и Т. Р., которые привели к тому, что Т. Р., будучи руководителем лаборатории, практически не давал никакой возможности работать, постоянно изменяя и отменяя тематику, над которой начинал Сергей Романович работать. Затем эти направления появлялись заново в лаборатории, но с подачи Т. Р. По вынужденным обстоятельствам Сергей Романович и Т. Р. оказались в одном месте в СССР, в лагере и п/я 33/6. Отношения не улучшились, а наоборот. В конечном итоге Т. Р. получил лабораторию в Свердловске, а семью Царапкиных выслали в г. Кустанай доотбывать ссылку, Сергей Романович не смог заниматься наукой, работал учителем всех предметов. В 1957 г., отбыв срок, Царапкины переезжают в г. Рязань, куда им было разрешено выехать. Эта ссылка окончательно подорвала здоровье свекра и 15 января 1960 г., после очередного инфаркта, он умер» (цитировано по имеющемуся у меня письму К. А. Царапкиной).

Николай Владимирович в годы жизни на Западе стал известным генетиком, особенно в области радиационной генетики. Сначала он просто использовал облучение как инструмент для индукции мутаций, потом включился в изучение повреждающего действия радиации. Его немецкие друзья-физики участвовали в атомном проекте Гитлера и, собираясь часто у Тимофеевых, обсуждали их дела. Так, Николаус Риль (сын германского инженера, приглашенного компанией «Сименс» работать в конце XIX века в Россию и женившийся на русской женщине) учился до 1927 года сначала в Санкт-Петербургском политехе, а затем в Берлинском университете имени Гумбольдта. Он был специалистом в ядерной химии и также был задействован в германском проекте по созданию атомной бомбы. Хотя сам Тимофеев-Ресовский формально в него включен не был, но его исследования процессов повреждения наследственных структур излучением были очень важны немецким физикам-ядерщикам. Вместе с Тимофеевым-Ресовским в последние два года его берлинской жизни работал Игорь Борисович Паншин, оказавшийся в немецком плену. Когда кончилась война, он был арестован чекистами. Он свидетельствовал (например, в интервью с ним в книге «Репрессированная наука», стр. 252 — 267), что Риль сразу после войны передал СССР огромный объем информации о немецких атомных разработках и был немедленно задействован в советской атомной программе (был даже удостоен звания Героя Социалистического Труда, дважды ему была выдана Сталинская премия, а затем и Ленинская премия; после 10-летнего пребывания в СССР он репатриировался в ФРГ). Как считал Паншин, по-видимому, именно Риль указал «хозяину» эзков, привлеченных к секретной атомной программе СССР, — Авраамии Павловичу Завенягину на Тимофеева-Ресовского как исключительно полезного специалиста.

В это время помещенный в лагерь для заключенных Тимофеев-Ресовский был уже близок к смерти. Его в 1947 году доставили в месторасположение «шарашки» в Сунгуле вблизи Касли на Урале, где советские власти в 1946 году начали разворачивать еще один научный центр в составе советской атомной программы (как писал М. Фонотов, «Тимофеев-Ресовский был доставлен в Сунгуль едва живым. Он не мог стоять на ногах, его внесли в корпус на простыне»⁴). Оставаясь заключенным, Тимофеев-Ресовский в Сунгуле начал приходить в себя и работать в этой секретной Лаборатории «Б», которая приобрела известность среди физиков-атомщиков. Неудивительно, что не только прежний учитель Тимофеева-Ресовского — Четвериков, но и один из лидеров атомщиков в СССР — Тамм хорошо представляли себе выдающуюся научную репутацию Тимофеева-Ресовского.

Услышав от них о Тимофееве, я загорелся мечтой попасть на летнюю практику в его лабораторию, о чем сказал и Тамму, и Четверикову. Поскольку я не таил своих планов, не старался делать все в одиночку, я рассказал также о своих мечтах нескольким друзьям, пожелавшим поехать вместе со мной на Урал. Так мне удалось сколотить компанию из пяти человек.

Но как туда попасть? Игорь Евгеньевич Тамм был знаком с Тимофеевым-Ресовским (он однажды в 1956 году пригласил его на семинар Капицы в Институт физпроблем и выступал с ним вместе на этом семинаре при огромном стечении народа, вызвав прилив ярости у Лысенко, о чем тот мне поведал как-то при нашей встрече), но непосредственных отношений с ним он не поддерживал и помочь в организации поездки не мог. Правда, Игорь Евгеньевич сразу же сказал мне, что даст мне и моему другу, Саше Егорову, денег на железнодорожные билеты от Москвы на Урал и обратно и на нашу жизнь на Урале, за что я был ему очень признателен.

Вскоре после того как я поделился с Четвериковым своей мечтой о том, что хотел бы или один, или с друзьями попасть в лабораторию Тимофеева-Ресовского в Свердловске или на его летнюю базу в Ильменском заповеднике, я получил от Четверикова заботливое, совершенно родное письмо, в котором он одобрял мою мечту о такой поездке летом.

⁴ Журнал «Уральская новь», 2002, № 13.

ГОРЬКИЙ, улица Минина, 5, кв. 6
апреля 2-го дня, 1958 г.

Дорогой Валерий Николаевич

Наконец-то от Вас пришла весточка. Спасибо! Я очень ждал её. У меня как-то мимо памяти прошло то, что Вам был поставлен срок по 1-ое апреля, и я думал, что Ваши экзамены должны кончиться в одно время с полукурсовыми экзаменами первого курса. А вестей от Вас всё не было да не было, и я начал всерьёз беспокоиться и забил тревогу; раздобыл адрес Вашей мамы и её телефон; брат два раза ходил к ней на квартиру, но оба раза дверь оказалась запертой, я раз восемь звонил по телефону 3-28-13, но каждый раз никто к телефону не подходил. И вот у меня в моей фантазии сложилась картина: Вы тяжело захворали, а Ваша мама (с сестрой?) уехали в Москву, чтобы ухаживать за Вами. А иногда мне мерещилось так: Вы — человек горячий и говорили мне, что с какой-то компанией собираетесь итти громить Т. Д. Лысенко; но там народ «свой», и в результате получился скандал, а может быть и драка; и в результате Вы могли жестоко пострадать... Мало ли что мерещится, когда дешёшь известий, а они не приходят...

Ну, Слава Аллаху, всё обошлось к лучшему и душа моя встала на место!

Ну вот, дорогой Валерий, Вы и студент МГУ. Правда, особенно похвастаться своими отметками Вы не можете, но ведь, не в этом сила — Вы зачислены и т. д. !..

Теперь перед Вами 5 лет самой напряженной работы; во что бы то ни стало Вы должны выбиться на передовые позиции, иначе от всех Ваших грандиозных и красивых планов останется грязная лужица. Ведь, не для того Вы переходили на физ-мат, чтобы после окончания его Вас направили рядовым работником в какую-нибудь захудалую техническую лабораторию. Вот, надо, чтобы Вы насквозь прониклись этим сознанием: вперед, вперед и вперед!!! И еще, дорогой Валерий, знаю, что могу Вам надоест, но не боюсь этого. Помните, что я Вам говорил про математику — время такой же обязательный фактор для усвоения математики, как, например, для усвоения иностранного языка. Ведь нельзя же выучить иностранный язык в один присест: для его усвоения нужно повторное, часто подсознательное упражнение, а ведь математика — это тот же своеобразный иностранный язык и мало запомнить различные термины или слова, надо научиться не только знать, но и мыслить на математическом языке! Запомните же это и никогда не штурмуйте!

Меня очень порадовало Ваше сообщение о том большом интересе, который ощущается в Москве в области генетики и вообще биофизики. Вслушивайтесь, вчитывайтесь и вдумывайтесь во всё то, что Вам приходится встречать и слышать; пускай это будут сначала обрывки, потом постепенно они начнут спаиваться и ни один усвоенный факт не пропадет даром. Но не увлекайтесь спорами и диспутами на общие темы, особенно философские. Это путь скользкий. Вспомните как по приказу свыше наши философы распинались за Т. Д. [Лысенко. — В. С.]!

Искренно радуюсь за Вас и поздравляю в связи с появлением в печати двух Ваших работ; опять-таки для Вашей дальнейшей судьбы всякая печатная работа — это ступенька к намеченной цели; пускай она даже по существу не соответствует теперешним Вашим интересам; всё-таки она свидетель того, что Вы умеете работать и ориентируетесь в различных биологических проблемах.

Радует меня и Ваше сообщение, что Вы с своим товарищем на лето хотели бы поработать под руководством Николая

Владимировича. Я считаю его безусловно одним из крупнейших генетиков и безусловно, под его руководством Вы приобретёте прекрасный опыт в генетической работе. Не знаю только, в какой области он сейчас работает. И не знаю даже, насколько он в состоянии вести работу самостоятельно — ведь он ослеп также как и я, хотя в значительно меньшей степени (потерял центральное зрение).

<...>

Про себя лично ничего существенного сказать не могу: живу как жил, день за днем, один день лучше, другой день хуже. Жду мая месяца, когда перед домом появятся лавочки, на которых можно отдыхать, и может быть у меня хватит сил спускаться на землю для каждодневной прогулки, а сейчас меня радует солнышко, которое весело и тепло светит на меня с неба и которое я ощущаю всем своим существом. Сегодня наконец прилетели грачи — это ровно на две недели позднее срока. Март здесь стоял морозный (до -22°C). Зато апрель обещает быть солнечным и тёплым, а тогда со всех пригорков вода хлынет в Волгу, а снегу в нынешнем году видимо-невидимо...

Искренне Вам преданный С. Четвериков.

Последняя фраза написана рукой Сергея Сергеевича, а фамилия Четвериков была им подчеркнута. Через неделю из Горького мне было послано новое письмо.

ГОРЬКИЙ, 9 апреля 1958 г.

Дорогой Валерий Николаевич

Получил Ваше хорошее письмо. Спасибо! Всё, что Вы в нем пишете, мне было чрезвычайно интересно и для уяснения обстановки, в которой Вам приходится жить, и для понимания Вашего душевного состояния. Конечно, меня крайне возмутило то, что Вы пишете о лишении Вас стипендии. С юридической точки зрения, возможно, «они» и правы, но по существу, по человечески — это верх бездушия и глупости. Но Вы не падаете духом и стойко встречаете всё это вытье и собачий лай. В этом Вы — молодец! Через несколько лет всё это будет в прошлом, и Вы только тверже еще станете на свои ноги. Вы, наверное, не читали драмы Ибсена «Доктор Штокман». Там на этого человека сыпятся горы неудач и преследований за те смелые мысли, которые он высказывает и которыми руководится в своей жизни; постепенно все его друзья и близкие от него отходят, но он тверд в своих взглядах, тверд в своих поступках, и чем больше на него сыпятся нападки, тем сильнее он себя чувствует, и в сознании своей силы он восклицает: «Силен тот, кто стоит один!» Вот и в Вашем письме я слышу такие же нотки... Но Вы один не останетесь; всегда найдутся около Вас друзья, которые в тяжелую минуту Вашей жизни готовы будут, чем только могут, итти Вам на помощь.

Между прочим, Ваша комбинация с дворником вовсе не кажется мне фантастичной. Ведь Вы человек молодой, сильный и если только правильно то, что с Вас будут требовать только работы всего с 7-ми до 9-ти часов утра, то это получается нечто вроде утренней зарядки и Ваша учебная работа от этого не пострадает.

Хочется написать Вам несколько строк по поводу Ваших взглядов на философию. Я безусловно согласен с Вами, что философия — это не начало, а конец научной работы; но не надо забывать, что мы живем не в мире с полной личной свободой, а, напротив, в условиях крайнего принуждения во всех сферах своей деятельности, и в научной работе сейчас немыслимо обойтись без «философии», вернее, без достаточного знания работ Маркса, Энгельса

и Ленина. Ведь Вы идете сражаться на передовых позициях, под самым жестоким обстрелом, и здесь «философия» будет играть одну из главнейших ролей, поэтому совершенно Вам необходимо держать при себе известный запас цитат, изречений, афоризмов и т. п., чтобы при их помощи можно было бы парировать наиболее грубые выходки противников. А в общем я скажу так: я очень мало сведущ в истории развития философии, но я не могу припомнить ни одного случая, когда бы философия являлась инициатором появления и развития новых плодотворных научных исследований, а ведь та область, в которой хотите работать Вы, находится еще на заре своего развития...

Очень рад был узнать из Вашего письма, что Ваша группа биофизиков пополняется новыми членами. В добрый путь! Всё это глубоко меня радует и вселяет надежду, что наша русская наука будет развиваться гигантскими шагами и через немного лет догонит другие страны и внесет свою долю нового знания в «золотой фонд» человеческой науки, и хочется вместе с А. С. Пушкиным приветствовать Вас: «Здравствуй, племя младое, незнакомое»... Дорогой Валерий! Сейчас Вы, конечно, усиленно работаете и с головой ушли в свою учебу. Работайте, работайте и работайте!! Но если выпадет свободная минутка — черкните мне несколько слов о себе. Ведь Вы все-таки мой «генетический внук», и по Вам я ощущаю биение здоровой научной мысли в этой области.

Передайте мой самый сердечный привет и всем Вашим товарищам по группе и самые искренние пожелания полного успеха в работе, и хотя я до этого, конечно, не доживу, но моему воображению рисуется вы все полные энергии и накопленных знаний идущими стройно в бой с темными силами!! — Всего, всего вам всем хорошего!!

Искренне Ваш С. Четвериков.

Р. С. Еще, дорогой Валерий, несколько слов о Вас. Я знаю Вас — Вы человек очень горячий, а это может навлечь на Вас много горя и неудач. Сдерживайте себя всеми силами. Помните, что «они» не стоят человеческих жертвоприношений, а что лишнее Ваше слово может сильно навредить Вам в дальнейшем. Я бы напомнил Вам одну русскую поговорку, да неудобно её писать в письме... Итак, в добрый путь!..

Слова «Искренне Ваш С. Четвериков» написаны рукой Сергея Сергеевича.

Хотя в этом письме про план поездки на Урал ни слова не было сказано, однако оказалось, что Сергей Сергеевич уже вовсю предпринимал меры по ее организации. Он написал Тимофееву-Ресовскому и заинтересованно ходатайствовал за нас. Долгие годы я не знал о содержании этого письма, но недавно в Москве был издан уже упоминавшийся том документов «Научное наследство», содержащий в том числе и некоторую (как я полагаю — малую) часть эпистолярного наследия великого ученого, и среди этих писем я нашел то самое письмо Сергея Сергеевича Тимофееву-Ресовскому, из которого приведу часть, касающуюся меня и моих друзей.

ГОРЬКИЙ, 24 апреля 1958 г.

Дорогой Николай Владимирович

Пишу Вам это письмо по двум поводам: хочется поделиться с Вами впечатлениями от Вашей работы, а затем у меня есть к Вам «дело», о котором речь будет дальше <...>

Теперь о «деле». Вы, вероятно, уже знаете, что на физико-математическом факультете Московского университета образовалась группа из четырех человек, глубоко заинтересовавшихся физиче-

ской стороной наследственного процесса и решивших основательно усвоить физику и математику с тем, чтобы потом перейти к биологическим проблемам. Из этих четырех человек я знаю только одного — Сойфер Валерий Николаевич. Это бесспорно способный студент, а главное с энтузиазмом отдавшийся поставленной перед собой задаче; судьба его незаурядная: он уже перешел на четвертый курс Тимирязевской С.-Х. Академии, еще полтора года учебы, и он бы вышел агрономом. И вот человек от всего отказывается и после очень долгих и трудных хлопот добивается перехода на первый курс физико-математического факультета! При этом его лишают стипендии, а он все-таки добивается своего; других трех товарищей его я не знаю, но по отзыву Сойфера все они серьезные ребята, ясно видящие перед собой поставленную ими цель. Двое из них постарше, а кроме Сойфера на первом курсе учится с ним его товарищ, тоже из С.-Х. Академии, и вот у всех четверых студентов сейчас одна мечта, одно желание: попасть к Вам в Миассово на летний семестр по генетике с тем, чтобы сразу в полной степени охватить всю проблему наследственности в целом. Не знаю, возможно ли это, и как Вы отнесетесь к подобного рода предложению: Вы меня очень обяжете, если сообщите мне о Вашем отношении к вышеуказанному вопросу; и если Вы найдете возможным удовлетворить их стремление (хотя бы частично), то на каких это условиях и какие необходимо для этого выполнить формальности. Со своей стороны я спишусь с Сойфером и его товарищами и направлю их по указанному Вами пути.

Ну, вот и все о «деле»

(из книги «Научное наследство», т. 28, стр. 324 — 325).

В течение почти месяца мне не приходили письма от Сергея Сергеевича, теперь уже я начал беспокоиться, а все ли нормально в доме номер пять по улице Минина в Горьком? Но, наконец, пришло письмо, объяснившее причину задержки в переписке.

ГОРЬКИЙ, 24 мая 1958 г.

Дорогой
Валерий Николаевич

Ваше большое и очень хорошее письмо я давно получил и очень рад был его теплому и откровенному тону, с которым Вы пишете о себе самом, о своих планах и т. д. Не отвечал Вам так долго по следующей причине: получив Ваше письмо, где Вы пишете о желательности для Вас и Ваших товарищей поработать по генетике под руководством Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, мне захотелось помочь Вам и Вашим товарищам в этом деле. Я написал об этом Николаю Владимировичу (ведь это мой самый талантливый и дорогой ученик) с просьбой ответить мне поскорее, возможно ли такое дело и что необходимо предпринять, чтобы устроить всех вас (или хотя бы двоих) на биостанцию в Миассово. К сожалению, я до сих пор не получил от него никакого ответа и потерял надежду получить его. Не станем гадать о том, почему он не ответил, для дела это безразлично; но очень досадно сознавать, что я сам в этом деле не могу оказать Вам помощи. Надо искать каких-то других путей...

Недавно я получил от Николая Владимировича отклик его последней работы, помещенной в «Ботаническом журнале» № 43 (этого года). Читали ли Вы его? На меня эта работа произвела несколько странное впечатление: как это пришло ему в голову изложить нашу сугубо-эмпирическую и экспериментальную науку в такой строго-догматической форме, где (у меня такое впечатление) не встречается даже ни одного силлогизма. Не знаю, какое впечатление произведет

эта работа на разных читателей; боюсь, что такая догматика придется очень не по вкусу нашим лысенковцам и примыкающим к ним «философам». Ведь главной нашей силой всегда были факты, а фактов-то в этой работе и нет! А становясь на почву догмы мы даем новое оружие в руки своих врагов. Ну проживем, увидим!

Дорогой Валерий Николаевич! Вы должны чувствовать как глубоко и горячо должна интересоваться меня и Ваша собственная судьба и предпринятое Вами дело. Я очень привязался к Вам и всякое событие в Вашей жизни всякий успех или неуспех глубоко меня радует или огорчает; поэтому не забывайте меня, старика, и хотя непосредственной деловой поддержки Вам я и не могу оказать почти никакой, но пусть Ваша душа чувствует, что где то там, в Горьком, есть человек, который пристально и с большим участием следит за Вашей судьбой.

Сейчас у Вас начинается экзаменационная пора, — пора горячая, пора трудная. Конечно, она ничего определенного решить не может, но всё же она покажет, насколько Ваши силы, Ваша энергия, Ваша настойчивость венчаются успехом. Пока идут экзамены — не пишите мне, не теряйте на это время, разве что пришлите открыточку. Ну а после экзаменов буду ждать от Вас подробного письма, где будут изложены все перипетии экзаменационного периода.

Что же касается моей жизни, то о ней распространяться не приходится. Не знаю еще, как сложится лето. За последние дни мне что-то стало хуже и трудно предвидеть, куда всё обернется. Сил становится всё меньше и меньше, а всякие боли мучают всё сильнее и сильнее. Но все-таки я стараюсь не сдаваться и заставляю себя спускаться с третьего этажа на землю и часа два проводить на площадке перед домом и проделывать на ней «моцион», т. е. обходить ее несколько раз кругом. Мой брат сейчас со мной, и моя жизнь течет в спокойных берегах, только с глазами моими и ушами дело обстоит неважно: каждый раз, как в моем состоянии наблюдается период ухудшения, так и с глазами заметно становится хуже, и сейчас я чувствую себя значительно более слепым и глухим, чем это было год тому назад, когда я тоже начинал спускаться на землю. Ну, да уж таков закон природы и вздыхать или сокрушаться по этому поводу — дело не умное.

На этом и буду кончать. Ведь моя теперешняя жизнь слишком бесцветна и бедна событиями, а жизнь кругом бурлит и кипит, намечаются какие-то совершенно новые перспективы, неожиданные возможности, которые доходят до меня лишь обрывками, лишь кусками, и мой стариковский разум уже не в состоянии уследить за развитием жизни. Это дело ваше! Дело подрастающих поколений, которые либо перейдут в землю на край гибели, либо осуществят мечту о земном рае. Я уже ничего этого не увижу, но хочу думать, что в конечном итоге разум восторжествует...

Вот так-то, дорогой Валерий Николаевич, буду кончать. Мой брат сам хочет Вам написать, а потому шлю Вам лично от себя самые тёплые и искренние и добрые пожелания всего хорошего!! И конечно в первую очередь — удачи в экзаменационной страде!

Очень прошу передать всем Вашим друзьям мой самый тёплый и искренний привет!!

Искренне Вас любящий
С. Четвериков.

Последняя фраза была написана Сергеем Сергеевичем рукой, а фамилия Четвериков подчеркнута им. Через три дня Сергей Сергеевич продиктовал брату еще одно письмо ко мне. Такая срочность была вызвана тем, что от Тимофеева-Ресовского пришел благоприятный ответ на просьбу о нашей поездке.

ГОРЬКИЙ, 28 мая 1958 г.

Дорогой
Валерий Николаевич

Как это часто случается не успел я послать Вам мое последнее письмо, как сегодня пришло, наконец, письмо от Тимофеева-Ресовского. Вот та часть его, которая имеет прямое отношение к Вам.

«Теперь, Сергей Сергеевич, о студентах-физиках. Я их не знаю, но слышал о них что-то хорошее в Москве от академика Тамма, который их тоже лично, кажется, не знает, но слышал, в свою очередь о них от физиков. Я был бы очень рад, если бы они к нам смогли приехать летом, хотя бы на несколько недель. Они бы могли не только принять участие в нашем семинаре, но и ознакомиться со всеми проводимыми у нас работами, включая цитологию и проделать небольшой практикум по генетике дрозофилы. Так как после 1 июня мы будем уже в Миассово, то пусть они напишут мне туда о времени приезда, по адресу: г. Миасс, Челябинская область, Госзаповедник, Биостанция Миассово, мне (Николаю Владимировичу Тимофееву-Ресовскому). Ехать из Москвы — прямо до Миасса, а оттуда довезем на машине. Только предупредите их о том, что жизнь у нас примитивная, жить они будут в палатках, поэтому лучше захватить спальные мешки или тёплые одеяла, а питаться будут с другими студентами, которые сами себе готовят пищу».

Очень буду рад, если эти сведения помогут Вам устроиться с летней работой и в то же время лично ознакомиться и сдружиться с Н. В. Тимофеевым-Ресовским...

О себе лично могу прибавить, что та «депрессия» которая отразилась в прошлом моем письме, понемногу изживается и мое самочувствие значительно улучшается. Надеюсь, что эта передышка окончится не так уж скоро...

Пока на этом и кончу. Сердечный от меня привет всем Вашим товарищам!.....

Искренне Ваш
С. Четвериков.

Последняя фраза была написана Сергеем Сергеевичем рукой, а фамилия Четвериков подчеркнута им.

В Горьком и Миассово

В последних числах июня 1958 года вся наша группа отправилась в Горький на два дня, чтобы встретиться с Сергеем Сергеевичем, а уже оттуда направиться на Урал. 2 июля 1958 года мы оказались в Рузаевке, где пересели на поезд, идущий до Миасса, и рано утром следующего дня добрались до этого города. Там мы нашли здание дирекции Ильменского заповедника, спросили о том, есть ли у них какие-нибудь сведения об автомашине, которую должны были прислать за нами из биостанции, узнали, что никакой машины нет и никто о ней ничего не слышал. После этого мы забросили рюкзаки за спину и отправились пешком через заповедник по указанной нам дороге. Пути было что-то около 15 километров, было раннее утро, и мы решили, что к обеду доберемся до места.

Природа и весь рельеф в заповеднике были не просто завораживающими взгляд, а совершенно неправдоподобно живописными. Такой красоты я до той поры в своей жизни не видел. Чередование нетронутых вековых лесов с каменными скалами, развалами, красивейшими ручьями поражало. Часа через три хорошего хода мы добрались до берега какой-то неширокой реки и решили устроить здесь короткую передышку. Мы скинули рюкзаки, уселись на траве

и вздумали перекусить, чем послал Бог. У меня оказался кусок голландского сыра, у Андрея Маленкова в его рюкзаке была запрятана банка кетовой икры, у Валеры Иванова нашлась пачка сахара, я зачерпнул котелком воды из речки, попробовал ее, она показалась мне вполне хорошей, и мы решили слегка подкрепиться. Однако более отвратительного завтрака в жизни мне есть не приходилось. Оказалось, что икра в сочетании с кусками сахара и ломтиками сыра представляет собой нечто совершенно ужасное. Запивать эту смесь соли с сахаром водой, конечно, можно было, но больше нескольких кусков сахара и ложки икры проглотить было невозможно. К тому же нас облепили жгучие кровожадные комары, которые, по-моему, тысячами слетались со всех сторон, чтобы насладиться кровью московских мальчиков. Для них этот день стал праздником. У меня сохранились фотографии того завтрака, а также снимок Саши Егорова, который, наклонив голову к реке, пил воду из нее.

К обеду мы действительно добрались до биостанции, где уже беспокоились о том, куда мы пропали. Нашу телеграмму о времени приезда они, оказывается, получили, машину за нами послали, но, как это вечно водится на Руси, водитель «капельку» задержался с отъездом («ну, самую малость»), а возможно, по дороге еще куда-то завернул, нас он не встретил, в Миассе ему объяснили, какой дорогой мы пошли на станцию, но он почему-то с нами разминутся. В общем, к нам вышел Николай Владимирович, который, несмотря на тучи комаров, щеголял с голым торсом, подставляя свежему воздуху и солнцу свою богатырскую грудь, усыпанную седыми волосами. Его первый же вопрос, заданный тревожным и повелительным тоном, касался того, останавливались ли мы по пути на станцию, и если останавливались, то где. Когда я рассказал, как мы устроили привал на берегу какой-то речки, он заметно забеспокоился.

— Я надеюсь, вы воду из этой речки не пили? — спросил он меня.

— Как же не пили, пили, да еще как, — не понимая его беспокойства, ответил я.

Такой ответ встревожил Николая Владимировича очень сильно. Только спустя какое-то время я понял, в чем было дело. Оказывается, через Ильменский заповедник течет речка Теча, в верховьях которой был построен совершенно секретный город с фабрикой по получению обогащенного ядерного топлива и запалов для атомных бомб (комбинат «Маяк», или Челябинск-40, позднее Челябинск-65, сейчас город Озерск), а все отходы сливали годами в реку Теча, поэтому уровень радиоактивности в реке в тех местах в тысячи, а временами в миллионы раз превышал предельно допустимые для человека дозы. В 1957 году, за год до нашего приезда, здесь к тому же случилась крупномасштабная в размерах всей планеты кыштымская авария, когда взлетело на воздух одно из хранилищ высококонцентрированных радиоактивных отходов количеством более 20 миллионов кюри. Взметнувшиеся в атмосферу частицы образовали чудовищное радиоактивное облако и загрязнили дополнительно реку Теча. Поражение охватило огромную территорию в 23 тысячи квадратных километров (возник так называемый Восточно-Уральский радиоактивный след). Пить воду из реки было смертельно опасно. Но дело сделано, а последствия того «завтрака» могли проявиться только позднее, раз мы не заболели в первую же неделю лучевой болезнью.

Летний месяц в Миассово у Тимофеева-Ресовского

Основной научной проблемой, изучавшейся сотрудниками Николая Владимировича, было как раз поражающее действие облучения. Позже он подарил мне толстый сборник работ его лаборатории, изданный Уральским отделением Академии наук, с дарственной надписью и содержащий в основном радиобиологические исследования. По-видимому, его лаборатория оставалась единственным центром в стране, где продолжали заниматься генетикой. Работы велись под патронажем физиков-ядерщиков, лаборатория была засекреченной, а физики отлично понимали, что радиоактивное заражение среды требует настоящего генетического анализа.

В момент поездки в Миассово я уже знал от брата Четверикова — Николая Сергеевича, проводившего в этом месте четыре с половиной года в заключении, что летняя биостанция Тимофеева-Ресовского вела свое происхождение от лагеря для заключенных, преобразованного потом в секретную лабораторию для арестованных ученых — «шарашку», в которой Завенягин собрал после войны таких людей, как Тимофеев, и нескольких пленных немцев, когда-то работавших с ним в Германии. В их числе были Карл Циммер, Николай Риль, Ганс Борн, Александр Кач, Шмидт и другие. В 1960-е годы Карл Циммер опубликовал небольшую книгу «Методы количественной радиобиологии», переведенную на русский язык, в которой автор писал о местах, в каких за его долгую жизнь ему пришлось изучать радиобиологические эффекты, и упоминал о парке в пригороде Берлина — Бухе, красочных местах в Пасадине (Калифорния) и лабораторию, из окон которой были видны Уральские горы. Советская цензура пропустила это место, а оно раскрывало местонахождение «шарашки», в которой Циммер отбывал советский плен.

Несколькими годами позже поездки к Тимофееву-Ресовскому я оказался за ужином рядом с доктором наук Г. А. Середой. В разговоре я упомянул фамилию Николая Владимировича, и вдруг Середа поведал мне, что отлично знал его, так как был руководителем научного учреждения, чрезвычайно секретного, в котором Тимофеев работал. Он сказал мне, что Тимофеев совершенно не умел держать при себе сообщенные ему государственные тайны. В самом начале своего назначения на должность начальника объекта Середя, еще не зная разговорчивости и несдержанности Тимофеева-Ресовского, вызвал его к себе и при соблюдении соответствующих предосторожностей передал секретный план тех исследований, которыми надо будет заниматься его группе. Буквально через несколько дней все секреты были выложены всем участникам группы Тимофеева, а от них распространились по объекту.

— Когда я вызвал Николая Владимировича и стал ему выговаривать за широкое распространение информации, не подлежащей огласке, он мне заявил, — говорил Середа, — что без ознакомления с генеральным планом исследования невозможно ждать от сотрудников заинтересованного и вдумчивого выполнения работы. Что каждый участник должен знать, к чему следует стремиться и что является конечной целью работы. Это было для меня настоящим шоком.

Поведал мне Середа и об одном курьезе. Перед новым годом, как и в любом другом советском научном учреждении, руководителям групп было приказано подать заявку на те приборы и химические вещества, которые понадобятся в наступающем календарном году. Подал такую заявку и Тимофеев-Ресовский, указав несколько граммов одного из красителей для цитологических исследований. Краситель этот в СССР не производили, но поскольку секретная «шарашка» была отнесена к высшему государственному разряду, заявки из нее рассматривались властями как абсолютно необходимые. Обнаружив строку о веществе, не производимом в стране, чиновники в Москве немедленно дали указание Госплану о его производстве где-то в недрах советской империи. Но с самой заявкой по вине машинистки, перепечатававшей окончательно сводную таблицу в офисе Середы, произошла ошибка. Большинство потребных количеств выражалось в тоннах, Николай Владимирович же написал, что ему нужно 15 граммов на год. Машинистка по неряшливости напечатала вместо сокращения «г» значок «т» (то есть тонн), а сводные данные никому на проверку или вычитку не дали: в таком виде все и ушло в Москву. Там, учитывая ту же секретность и государственную важность объекта, никому не пришло в голову что-то проверять, сверху пошел приказ изготовить нужное количество вещества к нужному сроку, на другом секретном предприятии — теперь уже химического профиля — была возведена специальная линия для выпуска нужного соединения, а к сроку на Урал ушел груженный пятнадцатью тоннами красителя отдельный вагон. Такого количества краски не нужно было в масштабах всей планеты, и теперь у Середы появилась новая головная боль — как уничтожить эту «химическую гадость», которой можно было выкрасить, наверное, половину всех рек, озер и морей на Земле.

Итак, вернусь к рассказу о нашем приезде в Миассово. Нам указали невдалеке от берега озера площадку, на которой нужно было поставить палатку, мы ее установили, и началась наша замечательная практика. В то время на биостанции жизнь кипела. Лаборатория уже не была секретной, туда можно было свободно приезжать, и к моменту нашего появления там уже жили ученые из Москвы. После нашего приезда появилась группа студенток-биологинь из Свердловского университета и несколько физиков из Уральского филиала Академии наук.

Большинство гостей познатнее жило в деревянных домиках на территории, но в стороне от них было отведено место для нескольких палаток, поставленных в ряд, а впереди них (по направлению к зданиям станции) на деревянном помосте были установлены столы рядом с печкой. Над помостом красовалась доска с надписью: «Колхоз у гробового входа». Там нам предстояло вместе с другими готовить пищу.

Лекции Тимофеева-Ресовского

Утро следующего дня Николай Владимирович начал с того, что прочел нам лекцию об охране природы. В те годы в стране еще главенствовал лозунг Мичурина «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача», и гадили в государственном масштабе (который, правда, несопоставим с сегодняшними загрязнениями). Тимофеев-Ресовский уже тогда осознал губительность такого подхода, гневом и красочно повествовал о том, какие капитальные последствия несет бездумное истребление лесов, смывание и порча почв, массовое загрязнение вод. Каждого появлявшегося на станции гостя (по-моему, независимо от ранга и степени) он заводил в кабинет и читал полноценную лекцию о важности сохранения природы.

На следующий день Тимофеев начал с нами вести дрозофильный практикум. Он показал, как выращивать мух, как готовить корм, как усыплять мух эфиром и подсчитывать мутации. На следующем занятии он дал обзор основных типов мутаций у дрозофилы, затем рассказал о гигантских хромосомах слюнных желез и показал, как готовить препараты этих хромосом. Практикум был интересен и полезен. Правда, задача, поставленная перед нами, — за месяц постараться понять, как можно влиять на частоту рекомбинаций хромосом при воздействии одним химическим веществом, избирательно взаимодействующим с веретеном деления в мейозе, — разрешена не была, да и не могла быть разрешена за столь короткий срок.

С 8 июля Николай Владимирович начал читать нам курс генетики из 15 лекций. Каждая лекция занимала в общем два часа времени (иногда чуть больше) и читалась через день, а в промежутках между ними Алексей Андреевич Ляпунов приступил к чтению курса лекций по математической теории групп, теории множеств и их роли в кибернетике.

Лекции Тимофеева-Ресовского включали разделы о цитологии, механизмах деления клеток, роли хромосом и генов в определении наследуемых признаков, природе и свойствах мутаций, темпах эволюции, действии радиации на генные структуры. Он особо остановился на описании пророческих взглядов Четверикова на роль мутаций в эволюции. Две лекции были отведены элементарным эволюционным факторам и «волнам жизни» Четверикова. Последняя лекция была прочитана 5 августа.

Он старался донести до нас не только основные научные идеи, но буквально сыпал именами ученых, вступавших в разное время в исследование тех или иных вопросов. Было названо несколько сотен имен. Поскольку со многими из названных он познакомился на Западе лично, то рассказ об истории развития генетических взглядов представлял совершенно живым, ярким, зримым. Никаких записей у Николая Владимировича в руках не было, но в его памяти удерживался такой объем информации, что становилось совершенно ясно, что перед нами абсолютно уникальный человек энциклопедических знаний по истории генетики, понимающий генезис научных взглядов столь глубоко, как,

вероятно, мало кто другой на свете. Он часто пользовался мелом и рисовал на доске схемы. Было заметно, что из-за слепоты он многое делает, в сущности, не видя своих рисунков, а по памяти, но тем не менее все рисунки и схемы получались четкими и ясными. Несколько раз я бывал в кабинете Николая Владимировича в здании лаборатории и видел, что для чтения он брал в руки огромную лупу, диаметром, наверное, сантиметров в двадцать, и с ее помощью пытался читать текст строчка за строчкой. Но ходил он по летней базе без очков, умел различать всех окружающих, и если не знать, что он видит исключительно плохо, то и заметить его слепоту было трудно.

«Треп» Тимофеева-Ресовского на вольные темы

В ходе лекций Тимофеева-Ресовского иногда заносило чересчур далеко в личные воспоминания, и несколько таких рассказов стоит привести. Довольно часто он отвлекался на рассказы о знаменитом британском генетике и заядлом коммунисте (одно время члене ЦК и даже Политбюро британской компартии) Джоне Бёрдоне Сандерсоне Холдейне или сокращенно Джи-Би-Эс-Холдейне. Николай Владимирович не только часто о нем вспоминал, но говорил таким тоном, будто он с ним был закадычным другом, что у нас не вызывало никаких сомнений.

Так, Тимофеев-Ресовский поведал нам, что Джи-Би-Эс был женат на очень требовательной жене, которой вечно не хватало зарабатываемых им денег («Она любила больше всего на свете шляпки. Ну а вы, я думаю, понимаете, что никакой профессорской зарплаты на шляпки такой дамочке хватить не могло», — объяснял он). Поэтому Холдейну пришлось писать детективные романы и издавать их под псевдонимом. Романы пользовались огромной популярностью и приносили большой доход.

Когда Тимофеев-Ресовский произносил эти фразы, у нас не было оснований в них сомневаться. Но годами позже я познакомился с трудами Холдейна в подлинниках, узнал многое о его жизни и понял, что поверить в это заявление было трудно. Холдейн действительно дружил много лет с знаменитым писателем-фантастом Олдосом Хаксли, но вот писал ли он на самом деле сам детективные романы, мне узнать не удалось, хотя в своей жизни мне довелось встречаться с двумя признанными биографами Холдейна, опубликовавшими о нем книги. Каждого я спрашивал про детективные романы Джи-Би-Эса. Они пожимали плечами, но ничего такого за своим героем не знали. Однако Николай Владимирович повествовал о романах с такой убежденностью, что и до сих пор я думаю, а вдруг в конце концов следы, ведущие к ним, обнаружатся, и большая литература о великом британском ученом с необычной биографией обогатится таким неожиданным открытием.

Из второго рассказа вытекало, что Холдейну всю жизнь не хватало одного какого-то интереса в работе, и его постоянно кидало с одной стези на другую («Он сначала изучал просто генетику и за свои великолепные работы быстро заслужил, что его избрали профессором Лондонского университета. Как только он стал таковым, он забросил к свиньям собачьим генетику дрозофилы и переключился на химию пигментов глаза насекомых и быстро получил соответствующую кафедру в другом университете. Тут он забросил химию, с той же страстью внедрился в изучение биологической статистики и получил кафедру *Honoris Causa* в Кембридже, где мог делать все, что его душеньке заблагорассудится. Тогда он бросил всю Англию к свиньям собачьим и уехал в Индию учить индусов выращивать рис»). Но приходится признать, что значительная часть приписываемых Николаем Владимировичем Холдейну должностей существовала только в воображении Тимофеева и ни в одной из биографий британского ученого не фигурирует. А уж биографию его историки изучили, и в ней ничего сокрытого быть не могло.

Наконец, хочу вспомнить его байку на другую тему. Он рассказал нам, как однажды, когда он отдыхал с другими крупными учеными на одном из северных пляжей, ему принесли телеграмму Холдейна из Калифорнии, где

тот тогда работал в Беркли (согласно биографиям, он действительно там был в 1932 году), требовавшего срочно прислать ему на прилагаемый адрес в Лос-Анджелесе две тысячи долларов (в те годы очень крупная сумма), которые ему позарез нужны, так как он находится в любовной связи с дочкой индийского магараджи и готов немедленно на ней жениться. Деньги он отдаст чуть позже, а кроме того, пришлет каждому из вложившихся в это дело по белому индийскому слону, но требует, чтобы деньги были незамедлительно присланы в полном объеме.

— Мы посоветовались и отправили телеграмфом по указанному адресу 50 долларов, — повествовал Николай Владимирович. — Через день пришла новая телеграмма от Джи-Би-Эса, в которой тот слезно молил прислать хотя бы тысячу, без которой его жизнь теряет всякий смысл. Посоветовавшись опять, мы отправили еще 20 долларов, после чего новых телеграмм не приходило несколько дней. Уже позже я получил от него письмо, в котором он ругал себя на чем свет стоит за свою доверчивость. Эта девица оказалась статисткой из Голливуда, а вовсе не дочкой индийского магараджи, выцыганила у него все деньги, после чего только обман раскрылся.

Еще одна завлекательная история, рассказанная Тимофеевым и запомнившаяся навсегда, была связана опять с его отдыхом на берегу Балтийского моря. Лежа на пляже с друзьями-физиками, они якобы обнаружили невдалеке стадо жующих коров и обратили внимание на то, что часть из них двигала челюстями справа налево, а другие — слева направо. Посчитав число особей в одной и другой группах и применив разные математические приемы (извлекая корни квадратные из числа одних и других особей и подвергая цифры иным преобразованиям), они получили сакраментальную цифру 6,6261, которая соответствовала численной величине коэффициента постоянной Макса Планка (постоянная равна $6,6261 \times 10^{-34}$ Дж/сек.). Соорудив вокруг этого нелепого вычисления некий дурашливый текст, они решили в шутку послать статью под своими подписями и с этим текстом в научный журнал «Naturwissenschaften», тогдашнего редактора которого они считали человеком недалеким. Статья действительно увидела свет на страницах журнала. Тогда эта группа написала будто бы коллективное письмо главному редактору, начинавшееся словами «Старый осел...». После этого в журнале появилась еще более странная заметка — от редактора, в которой сообщалось о безобразно безответственном поведении «этих юнцов», перечислялись все их имена и было заявлено, что в течение какого-то срока ни одна их статья не будет принята к печати в данном уважаемом научном журнале.

Но, конечно, надо признать, что таких развеселых рассказов было относительно мало, а лекции были насыщены серьезным и важным материалом.

Помимо лекций, конечно, много времени в том месяце мы проводили, вместе купаясь в озере Миассовом и в разнообразных беседах с Николаем Владимировичем. Он называл это «трепом» и со страстью ему предавался. Оттопырив губу, он мог самозабвенно говорить на многие темы, вспоминал курьезные случаи из жизни, приплетал каких-то неведомых нам авторитетов в свидетели, любил рассказывать анекдоты и мастерски это делал. Много лет позже я прочел воспоминания эмигранта-художника Олега Александровича Цингера⁵ (его фотография, кстати, хранилась у Четверикова, и он подарил мне ее) о встречах с Тимофеевым-Ресовским в Берлине на протяжении многих лет. Он очень интересно и, как мне кажется, правдиво повествует о таланте Тимофеева к рассуждениям на всевозможные темы, часто с взглядами, которые он вскоре забывал и начинал их так же экспрессивно и патетически отрицать.

⁵ Олег Александрович Цингер был сыном А. В. Цингера — профессора Московского университета, автора выдержавшего с 1919 до 1930 года 20 изданий учебника «Начальная физика», а также задачника по физике. Примечательно, что А. В. Цингер, кроме физики, интересовался ботаникой и написал столь же знаменитую, как «Начальная физика» и «Задачи и вопросы по физике» (1912), книгу «Занимательная ботаника» (1927). Александр Васильевич был хорошо знаком с Л. Н. Толстым, и последний высоко его ценил.

Цингер написал об этих «шараханях» так: «Все эти рассказы были настолько красочными, что нельзя было ими не восторгаться! Была в них какая-то смесь Ноздрева и Хлестакова с примесью Лескова». Чуть ниже он добавил: «В Колюше была смесь какой-то напускной грубости с абсолютно чистой душой ребенка».

Но что ни говори, этот «треп» был для нас удивительно увлекающим, праздничным и радостным. Ведь, помимо глубины знаний, фантастической памяти на события и имена, Николай Владимирович обладал умением завораживать окружающих людей своими искрящимися выдумками, вовлекать их мысли в непривычные ситуации, размышления и переживания. В нем, несомненно, жил талантливый лицедей и режиссер одновременно, он выстраивал вокруг себя театр высокого штиля, нередко придумывал на ходу всякие вымышленные истории и сам верил в них и возбуждался ими.

Николай Владимирович призывал нас не тратить время на пустяки и в особенности на слежение за политическими пертурбациями в окружающем мире. Мне кажется, что эти речи адресовались главным образом Андрею Маленкову. Чтобы утвердить свой взгляд о ненужности слежения за политикой и неприменимости политических событий в окружающем мире к внутреннему миру ученых, у которых своя особая стезя и свой мир, он как-то привел такой аргумент:

— Вот я, Тимофеев-Ресовский, уже больше тридцати лет с мая по октябрь не читаю газет и не слушаю радио, и ничего от того, что я, Тимофеев-Ресовский, этого не делаю, в мире еще не произошло!

Эту театральную дурашливость иногда не могли воспринять без удивления люди, попадавшие случайно в жизненную сферу Тимофеева-Ресовского. Помню, как на станцию на несколько дней приехала мать одной из студенток Свердловского университета художница Гилёва. Она, как и мы, была покорена красотой окружавшего станцию заповедника и решила запечатлеть ее в своих зарисовках. Появляясь то в одном, то в другом месте с раскрытым для зарисовки эскизов альбомом, она была очень заметной в среде обитателей станции, в целом очень занятых людей. Однажды мы вышли после лекции с Николаем Владимировичем из домика и увидели художницу, отнюдь не худенькую женщину средних лет, присевшую на траве рядом с этим домиком и пытавшуюся прикрыть ноги подолом платья от наседавших комаров. Увидев Николая Владимировича, она обратилась к нему с каким-то вопросом, а он еще был весь напружинившийся и несколько не отошедший от лекционного напряжения, еще оставался эмоционально возбужденный. Он расстегивал пуговицы рубашки, чтобы, по своему обыкновению, подставить крутую волосатую грудь солнцу, как он это всегда делал, оказываясь на воздухе. На неожиданный вопрос он ответил непринужденно, но театральным тоном и громким голосом лектора, чем слегка смутил художницу. Она попыталась что-то ему ответить и произнесла фразу о том, что хотела бы нарисовать какую-нибудь первозданную скалу в окрестностях станции с девушкой-студенткой в белом халатике на этом фоне и с чем-то научным в руках, например с колбочкой и с пипеткой. Так как Тимофеев-Ресовский был глубинным патриотом красоты тех мест, слова художницы вызвали в нем протест, и он заявил ей громко:

— Матушка! Да что искать первозданную скалу? Тут все скалы первозданные и красивейшие. И зачем вам девушка в халатике? Да еще и с пипеткой? Девушка с пипеткой? Это нонсенс. Лучше позовите вон Толю Тюрюканова и поставьте его дезабилизе на фоне скалы. Вот это будет почище Рубенса!

После этих слов он заорал на всю округу своим могучим баритоном:

— Тюрюканыч! Тюрюканыч! Поди сюда немедленно! Тебя рисовать будут!

Художница, не переставая шлепать себя по шее, лицу и рукам, пытаясь спастись от наседавших комаров, с капризом в голосе возразила:

— Ну, Николай Владимирович! Что вы меня на смех подымаете. Я же вам серьезно говорю о своих художественных планах. А вы так несерьезно к ним относитесь!

— Матушка! — продолжил реветь во всю мочь Тимофеев, возвышающийся, как гора, над присевшей и хлопающей себя ручками художницей. Он опустил голову еще ниже, слегка наклонил ее вбок, набычился, перевел свой голос на наивозможно более низкий регистр и, выпятив голую грудь, которую несколько комары не беспокоили, продолжил свой рев: — Да с какой же стати мне быть серьезным?! Ведь я ученый, а ученые вовсе не всегда ужасно серьезны. Я не могу быть серьезным, матушка, при таких курьезных обстоятельствах. Если же вы хотите сугубо серьезного, то обратитесь к милиционеру, — он назвал его имя, — который живет вон там на хуторе. — И он махнул рукой неопределенно в направлении хутора. — Вот он уж точно серьезный всегда, серьезный 24 часа в сутки, когда к нему ни приступи. А мы народ несерьезный. Мы люди ученые.

И с этими словами он пошел к себе, оставив бедную Гилёву в замешательстве.

Негативное отношение Тимофеева-Ресовского к молекулярной генетике

На всех лекциях помимо нашей четверки всегда присутствовал биохимик-профессор, который в то время что-то делал в Миассово. Он располагался позади наших стульев, сидел или стоял, молчаливо вслушиваясь в речь лектора. Когда дело доходило до объяснения каких-то химических деталей, Николай Владимирович морщился, делал брезгливое лицо и раз за разом произносил одну и ту же фразу:

— Ох и не люблю я, Яков Борисович, эту вашу химию, эту вонючесть!

При этом он оттопыривал и вытягивал вперед нижнюю губу, как он умел это прекрасно делать (как маленький капризный и избалованный ребенок), понижал голос и сгибал руки в локтях, как бы готовясь к бою. Яков Борисович (если я правильно вспоминаю его имя и отчество) никогда ему не возражал, только мягко улыбался, давая понять, что он легко воспринимает тимофеевские эскапады.

Уничжительные высказывания Тимофеева-Ресовского по адресу молекулярной генетики были не случайными, а отражали его глубинную (да, впрочем, и не очень глубоко прятавшуюся им) неприязнь к молекулярной генетике (да и к биохимии). Он не скрывал, что отвергает взгляды об исключительной важности и доминирующей роли ДНК и РНК в наследственности и в развитии признаков (поэтому он включил в одиннадцатую лекцию отдельный раздел о том, что хромосомы не могут нести одну огромную наследственную молекулу ДНК, и настаивал, что континуум генов якобы невозможен; этот раздел был специально направлен против представлений о наличии лишь одной молекулы ДНК в каждой хромосоме). В этом отторжении молекулярной генетики он ничем не отличался от Лысенко, которому также никак не удавалось примириться с молекулярно-генетическими и молекулярно-биологическими взглядами. Физику Тимофеев-Ресовский признавал и за много лет взаимодействия с крупнейшими физиками ввел в свое мировоззрение хотя бы на уровне разрабатываемой им с учениками теории мишени, а вот химию отвергал. Он искренне полагал, что развитие признака есть глубинный биологический процесс, в ходе которого многие чисто биологические факторы входят во взаимодействие. Поэтому он считал рассуждения об одной ДНК или в содружестве с РНК примитивными попытками недалеких людей упростить до безобразия существо сложных биологических проблем. Для него не существовало такой отдельной и самодовлеющей дисциплины, как биохимия (или в его терминологии — «вонючесть»). Как вспомогательный метод по определению в организмах каких-то веществ — сколько угодно. А как дисциплины, описывающей развитие органов и организмов, — никак нет. Поэтому он всегда спрашивал тех, кто называл себя биохимиками:

— Вы мне скажите (в собеседника вперивался строгий взгляд, и наступала пауза): вы какой биологической дисциплине обучены? Вы специалист в какой собственно области биологии?

Если человек отвечал, что он — просто биохимик, у Николая Владимировича начиналось извержение почти что ругательства. Он тут же заявлял с ожесточением, что вот он — «мокрый биолог», то есть гидробиолог по образованию, и может назвать любую мелкую «водную гадость», плавающую поверху или ползающую под водой. А без тонкой биологической специализации исследователей в поле биологии не может быть. Это значит одно — недоучка, да еще с фанаберией.

Для молекулярных генетиков и их объектов — ДНК и РНК он придумал свой термин и часто его произносил. «Опять ДНКакание и РНКакание», — в запальчивости возглашал он. Когда я как-то приехал к нему домой в Обнинск с написанной докторской диссертацией и стал рассказывать об изучении репарации ДНК и молекулярных механизмах ошибок репарирующих ферментов и их роли в возникновении мутаций, он слушать этого не стал, заявив, что кишечная палочка и бактериофаги, на которых в основном были проделаны мои эксперименты, — вообще не объекты биологии, а — медицины, что ДНКаканием и РНКаканием не разрешить проблем мутагенеза, которым он посвятил свою жизнь.

Предугадать, что меньше, чем за десятилетие, исследования молекулярных генетиков помогут понять саму природу генов, их функции и роль в управлении жизнью организмов, а через тридцать-сорок лет приведут к революции в медицине, он не сумел.

Жизнь на биостанции в Миассово

Хочу вспомнить немного о других сторонах жизни в Миассово. Как я говорил, мы поселились в палатке, по утрам и днем ходили питаться в «Колхоз у гробового входа», где готовили сами себе каши или картошку.

Однажды мы остались в палатке на некоторое время вдвоем с Андреем Маленковым. В тот день (это, видимо, было воскресенье) ни лекций, ни других занятий не было, мы растянулись на наших спальных мешках, и Андрей стал вспоминать время, когда его отец (при Сталине — Секретарь ЦК партии, после его смерти — Председатель правительства) и Хрущев вступили в бой за главенство. Из рассказа Андрея следовало, что в одно утро старые члены Политбюро (Молотов, Маленков, Каганович, частично — Ворошилов и некоторые другие) решили, что Хрущев нарушает прежние договоренности между членами верхушки партии о коллегиальном руководстве и начал формировать партийные комитеты в областях из лояльных по отношению только к нему людей. Андрей заявил, что, посоветовавшись, члены Политбюро большинством голосов проголосовали за решение сместить Хрущева с поста Первого секретаря ЦК. Тогда Хрущев примчался к Маленковым домой и начал уговаривать Георгия Максимилиановича Маленкова вернуть его на должность секретаря. Андрей даже сказал, что в какой-то момент он остался в комнате вдвоем с Хрущевым и последний повалился ему в ноги, прося замолвить за него слово перед отцом. Я сказал Андрею, что поверить в это не могу, что это какая-то хлестаковщина. Но он уверял меня в правдивости своего рассказа, а потом заявил, что, оказывается, Хрущев вовсе не искренне пытался вернуть себе расположение Маленковых, а ломал комедию. Ему нужно было затянуть время и отвлечь внимание пока еще могущественного руководителя страны Г. М. Маленкова, с тем чтобы в столицу слетелись секретари обкомов партии из областей, которых Хрущев еще до окончания драмы с его удалением от власти вызвал на внеочередное заседание ЦК партии. Когда эти члены ЦК от областных организаций собрались в Кремле во второй половине того же дня, они приняли решение, обратное утреннему: из партии были исключены «Маленков, Молотов, Каганович и примкнувший к ним Шепилов», а Хрущев был восстановлен в руководстве партией, и теперь уже всей страной.

— Надо отдать должное Хрущеву, — сказал мне тогда Андрей. — Он мог развешать нас по фонарным столбам вокруг Красной площади, но не сделал этого. Этим он показал, что остался цивилизованным человеком.

Кроме лабораторных занятий, лекций, купанья, мы еще часто играли в волейбол, причем к нам почти всегда присоединялся Алексей Андреевич Ляпунов, который хорошо играл и вообще выглядел молодцом. Тимофеев-Ресовский иногда подходил к площадке, чтобы поболеть за какую-нибудь команду, и тогда пространство вокруг наполнялось его могучими криками поощрения или порицания.

Однажды Николай Владимирович жутко на меня накричал. Дело было, когда на станцию приехала группа студенток из Свердловского университета. Вечером мы с ребятами развели костер на берегу озера, что-то пекли на огне, а потом стали распевать песни, я вспоминал разные арии из физических опер. Где-то уже далеко за полночь Валера Иванов затянул популярную тогда у нас песню «Шел один верблюд, шел другой верблюд. Шел целый караван». Мы подхватили припев: «Джим-бам-була-була, джим бала-була. Джим-бам-була-була. Джим-бала-була», — причем по ходу песни наши голоса звучали все громче, а в конце концов мы орали во все глотки. Наши вопли неслись над темной водой озера, луна светила, ничто не предвещало грозы. Но она разразилась на самом пределе нашего экстаза. Из темноты показалась фигура полуодетого Тимофеева. С руками, сжатыми в локтях и отставленными в стороны, он бросился на нас из темноты и закричал, почему-то обращаясь ко мне:

— Сой-й-й-фер! Здесь не бардак! Здесь научное учреждение! Здесь по ночам спят! Немедленно разойтись!

Когда я вернулся из Миассово в Горький и упомянул в рассказе об этом случае Сергею Сергеевичу, его удивлению не было границ. Со смехом он стал вспоминать, каким буйным разбойником был в свое время Тимофеев, какие он вытворял дела, будучи студентом. Так, он рассказал, как однажды ночью группа юношей, предводительствуемая Тимофеевым-Ресовским, выехала на трех лодках с их летней станции на соседнюю станцию, как они там «захватили в плен» спящих девчонок из «вражеского гнезда», попрытали их по огромным мешкам, завязали мешки веревками и привезли пленниц к себе, чтобы пировать у костров всю ночь, и только утром отвезли «добычу» обратно на прежнее место.

— Это же надо, — сокрушался Четвериков. — Что жизнь сделала! Из буйного разбойника он теперь в блюстителя нравов превратился. Да, все мы постарели невозможно, — заключил Сергей Сергеевич.

(Окончание следует)

